

Татьяна ШАМЯКИНА

ЧЕЛОВЕК, ДАРЯЩИЙ СЧАСТЬЕ

К 95-летию со дня рождения Ивана Шамякина



Иван Шамякин. 1980 г.

В искусстве Нового времени прослеживается одна удивительная закономерность: любой автор в своем творчестве, как правило, предстает лучшим, чем он есть в реальности. Достаточно вспомнить признанного мастера, произведения которого объявлялись воплощением действенного гуманизма, но при этом он бросил больную жену, не приехал к ней на похороны; изменял не только матери своих детей, но и фронтовому братству, оскорбляя ветеранов, когда поменялась политическая ситуация. Или же встречался мне писатель,

который в своих произведениях выступал таким весельчаком и рубахой-парнем, а в жизни оказался расчетливым эгоистом. Немало известно творцов, которые в жизни демонстрировали явную тягу к роскоши и «красивой» жизни, а в своих произведениях проповедовали умеренность и даже аскетизм.

Иван Шамякин был одинаков в жизни и в творчестве. Он любил показывать героев чистых, благородных, верящих в идеалы, в добро, хотя и не лишенных некоторых, впрочем, простительных и не наносящих вред другим людям, недостатков. И сам был таким — немного наивным, добродушным, удивительно доброжелательным к людям, незлобивым и верным в дружбе и любви.

Конечно, в течение жизни он менялся. В молодые годы — смешливый, любящий юмор и поощрявший постоянные розыгрыши своего закадычного друга драматурга Андрея Макаёнка. Но вообще довольно застенчивый, теряющийся от оскорблений и грубости. В старости — трогательно смиренный: стал еще более снисходительным к людям, прощал всё и всем; любые поступки, даже неблагоприятные, умел оправдать; хамства просто не замечал. Ему были органически чужды чванливость, заносчивость, гордость.

Между тем зависть сопровождала всю его жизнь. Она, можно сказать, по отношению к нему гипертрофированная. Ведь были белорусские писатели, несомненно, более щедро увенчанные премиями, наградами и званиями (хотя и у Шамякина их было немало), но все равно не могли они успокоиться: завидовали его гораздо большей, чем у них, популярности в народе, завидовали его гармоничному и ясному стилю, а больше всего,

литература

Татьяна ШАМЯКИНА / ЧЕЛОВЕК, ДАРЯЩИЙ СЧАСТЬЕ

мне кажется, — его характеру, понимая, как им далеко до его благородства, доброты, прамодушия.

Шамякин всем помогал, причем часто тем, кому вовсе и не следовало. Так, в конце жизни он радовался, что за годы руководства Союзом писателей Беларуси он одних только квартир для писателей и даже для их детей «выбил» около двухсот. Но все коллеги, обязанные ему квартирами, машинами, изданиями книг, премиями, пенсиями, путевками, зарубежными поездками, как правило, добра не помнили, более того, любые недостатки в руководстве СП приписывали ему, хотя он был всего лишь «рабочей лошадкой», первым секретарем, а не почетным председателем. Между тем сегодня ясно, что годы руководства Шамякина — золотой век в истории творческой организации. Впрочем, Иван Петрович никогда не ждал благодарностей и не рассчитывал на них, относился к этому легко и спокойно: главное, он сделал добро, а остальное неважно.

В нашей семье не было культа писателя Шамякина. То есть во время его работы за письменным столом — никаких табу. Дети, а тем более внуки, могли ходить на головы, — он никого не сдерживал и не приказывал утихомириться, поскольку мешают работать. Дети вызывали у него умиление. Так же относился ко всему живому: скажем, на даче запрещал вырубать старые плодовые деревья, полагая кощунством, хотя они давно выросли и затеняли участок.

В литературоведческих разборах книг некоторых белорусских писателей уже даже и в советское время можно было нередко встретить глубокомысленные рассуждения о христианских ценностях, библейской символике, о Боге. К творчеству Шамякина критики таких высоких критериев никогда не прилагали. Но Шамякин, неоднократно заявлявший о своем атеизме, в реальной жизни всегда поступал по-божески, руководствовался евангельскими принципами. Это особенно проявилось в те месяцы, когда смертельно болела жена, и он сам, уже чрезвычайно слабый на ноги, больной, перенесший тяжелые операции, каждый день ездил к ней в больницу едва ли не на полные сутки и всячески поддерживал до конца, проявляя ту глубину сердечности, которая характеризует и лучших его героев. Вообще отношение

к жене, матери его детей, — всю жизнь самое трогательное, нежное, романтическое. **Восстанавливая сегодня в памяти семейную жизнь родителей, я могу с полным правом сказать: их союз из, может, миллионов браков, действительно счастливый, гармоничный, какой-то исключительно светлый, весенний во всем. Любовь родителей друг к другу и к детям создавала удивительную семейную атмосферу.**

Крах социального строя и разрушение государства — СССР — совпали у Шамякина с личной трагедией — потерей единственного сына (в сентябре 1991 года), а также ощущением выпадения из общего ритма, предчувствием идейно-нравственной катастрофы общества. В последние тринадцать лет своей жизни (до смерти в 2004 году) прозаик написал много, и есть вещи значительные, во всяком случае, не лишённые прежнего мастерства, даже виртуозности, но это — инерция профессионализма, а в целом в других социальных условиях работали иные архетипы, чем в предыдущий период творчества. Негативные архетипы — мрачное восприятие действительности.

Я же хочу восстановить то время, когда отец творил вдохновенно, радостно, с огромным удовольствием, подъемом, а потому особенно результативно. Оптимистический и одновременно романтически-сентиментальный пафос его творчества обусловлен как личностными качествами, чертами характера, в целом жизнерадостного, так и условиями формирования — постоянным пребыванием на лоне природы, причем в разных местах богатой разнообразными ландшафтами южной Гомельщины.

МИЛАЯ СЕРДЦУ СТОРОНКА

Генетические корни Шамякина — в селе Корма Добрушского района Гомельской области. Отсюда происходят его родители, деды, все предки. Старинная, большая, богатая Корма — это детство, пребывание в родовом гнезде, первые деревенские впечатления. Творческое же свое развитие писатель начинал с села Прокоповка, куда после демобилизации приехал в 1946 году к жене, работавшей здесь фельдшером-акушеркой, и к пятилетней дочери Лине. Впечатления от Прокоповки вылились в пятой повести «Мост» из пенталогии «Тревожное счастье»,

частично в романах «В добрый час» и «Криницы». У старшей дочери Ивана Петровича Лины осталось впечатление о том времени как очень счастливым: жили страшно бедно, скудно, голодно, но радостно, с надеждой на лучшее. Родители — молодые, энергичные, трудолюбивые, любимые в народе; к Шамякину пришла первая литературная слава.

Упомянутые выше романы, хотя и навеянные Прокоповкой, Шамякин писал уже в селе Терюха Гомельского сельского района. Когда-то он — ученик пятого класса — прожил здесь один год. Удивительная природа окрестностей Терюхи особенно затронула сердце парня, но главное — тут он встретил свою будущую жену — коренную терюшанку

шего когда-то на территории Полесья, так называемого моря Геродота. Песок в Терюхе мелкий, блестяще-белоснежный, чистый, кварцевый, летом всегда нагретый солнцем, особенно красивый на берегах реки. Мама очень любила постоянно ходить босой, чтобы ноги тонули в горячем песке, и нас приучила. Песок издавна использовался в ремесленном творчестве, производстве стекла — об этом говорят названия близлежащих деревень: Студёная Гута, Новая Гута. Последняя в наше время — таможня, терминал, переезд в соседнюю Украину, граница с которой — в 8 км от Терюхи.

На песках вокруг села повыврастали могучие сосновые боры, в которых полно води-

Иван Шамякин был одинаков в жизни и в творчестве. Он любил показывать героев чистых, благородных, верящих в идеалы, в добро.

Марию Филатовну Кротову.

Большая, хотя и несколько меньше Кормы, деревня Терюха названа по речке — 57-километровому притоку Сожа. В названии, которое на первый взгляд выглядит неславянским, звучит, однако, явный корень «рух», то есть «движение» (по-белорусски Церуха). Сегодня окрестности села — популярная зона отдыха местного подчинения на территории Гомельской области. После взрыва Чернобыльской АЭС значение курортной зоны в Терюхе особенно возросло, поскольку из-за розы ветров сюда не занеслись радиоактивные облака и не выпали на землю смертоносные нуклиды.

Притягательное своеобразие этой местности я заметила давно. Скорее всего — по моей собственной версии — сюда не заходил последний ледник, сползающий с севера, как известно, «языками», между которыми оставались свободные зоны, где, благодаря хорошей инсоляции, процветали поселения бореалов — аборигенов Европы. С того времени регион так и остался во многом необычным. Достаточно сказать, что деревня лежит на сплошных и очень глубоких песках, оставшихся как раз от пространства между «языками» ледника или же, что даже более вероятно, являвшихся дюнами на берегу быв-

лось разных зверей и птиц, созревали ягоды и вырастали грибы даже еще в 50–60-е годы, а тем более во времена детства Шамякина. Вот почему, хотя почвы региона и неплодородные, тут издавна селились люди, кормившиеся с леса, с исключительно рыбных рек и озер, а также с ремесла, пользуясь близостью к большому и древнему — в эпоху Средневековья — городу Чернигову, а с XIX столетия и белорусскому Гомелю.

Красота окрестностей Терюхи на всю жизнь вошла в сердце будущего писателя. В 1951 году на деньги Сталинской премии за свой первый роман «Глубокое течение», в котором узнается упомянутая местность, Шамякин построил в Терюхе обычный деревенский дом, куда постоянно приезжал с семьей примерно до середины 60-х годов. Это необычайно плодотворный период в его творчестве. Здесь, именно в Терюхе, написаны романы «В добрый час», «Криницы», «Тревожное счастье», «Сердце на ладони» (названия какие!). Сюда постоянно приезжали гости — коллеги-писатели: русские, ехавшие из Ленинграда отдыхать в Одессу и Крым, и украинские — те путешествовали в Прибалтику, Ленинград и Москву.

Особенно часто заезжали именно украинцы — шумные, говорливые, остроумные.

Мне хорошо запомнился Степан Олейник (не путать с Борисом Олейником) — поэт-сатирик и большой юморист в жизни, редактор сатирического журнала «Перец» и автор сценария первой, необычайно популярной, киноленты Леонида Гайдая «Пёс Барбос и необычный кросс». Всегда веселый Олейник, удивительно похожий на Тараса Бульбу, особенно любил нашу семью, приезжал в Терюху с женой и приемной дочерью именно в гости, а не как-то проездом. Мы, в свою очередь, посещая Киев, всегда останавливались у Олейников, которые жили прямо на главном проспекте столицы Украины — Крещатике. Замечу, кстати, что быт украинской

вычного комфорта. Жили радостно и приятно — к природе, деревенским людям, друзьям...

В произведениях, написанных Шамякиным в 50–60-е годы, в их легком, летящем стиле, словно светится радость жизни, жажда творчества, счастья как гармонии, которую возможно — тогда он искренне верил в это — внести и в человеческое общество. Только в Терюхе, обожаемой отцом, и могла возникнуть такая обаятельная повесть о любви, вся проникнутая радостью чувства, как «Неповторимая весна». Здесь, в условиях неспешной, размеренной жизни, и отношения моих родителей как бы воскрешали их юношескую

Годы поездок на Гомельщину — буквально каждым летом — были для Шамякина годами полного, абсолютного счастья, какое только может быть в жизни человека.

литературной элиты был в то время устроен намного лучше, чем быт белорусских литераторов, что связано, конечно же, с почти полным уничтожением в войну минского жилого фонда. Однако и писателям Беларуси, как я расскажу позже, достаточно быстро создали комфортную жизнь.

В Терюхе для гостей устраивались рыбалки на Соже и на его старицах с удивительными славянскими названиями — Казара, Качье; походы в лес по ягоды и грибы. Шамякины любили «угощать» и экзотикой: возили на одно из озер, где рос тоже, думаю, доледниковый реликт — водяной орех чилим. Плоды у него черные, колючие, а вареные, на вкус очень сходны с пищевыми каштанами.

Белорусские писатели, ездившие на южные курорты, тоже обязательно ночевали в Терюхе. Некоторые просто, как и Олейники, приезжали пожить — Андрей Макаёнок, Алексей Кулаковский, Владимир Карпов — почти всегда с семьями. Все молодые, веселые, общительные. Помню постоянные розыгрыши, подначки, явную страсть некоторых литераторов к авантюрам. Никаких телевизоров тогда в деревне не водилось, и как же без телевидения красиво и интересно жили!

Размещались на чердаке, всегда заполненном сеном, или спали в машинах. Никто не обращал внимания на отсутствие при-

красоту; им постоянно хотелось делать друг другу что-то приятное, хотелось выглядеть в глазах другого и детей лучше, чище, значительнее.

Терюха — это близость к земле, к простым вещам, обычным человеческим радостям, привычным для моих родителей с детства. Мы, дети, живя большую часть года в городе, занимаясь в школе, собирая металлолом, катаясь на коньках, все же постоянно мечтали о летней поездке в Терюху. Но так же — и наши родители. Шамякин горел нетерпением: скорее взять летний творческий отпуск, бежать от суеты, от борьбы амбиций и зависти коллег, от требовательности чиновников — к настоящей работе, милым людям, настоящим ценностям. О маме и говорить нечего: она так до конца жизни и не стала по-настоящему городской жительницей, дамой из «высшего столичного общества». **В деревне Шамякиным было легко, свободно, психологически комфортно — они намного лучше чувствовали себя среди простых тружеников, чем среди элиты.**

В конце 60-х годов дом в Терюхе понравился киносъемочной группе режиссера Н.Федоровского, который искал натуру для своей новой ленты «Весенние грозы». Деятели кино пристроили к дому еще одну веранду — фактически декорацию, но она так и

осталась, выполняя функцию сеней. Фильм не стал значительным событием в искусстве, но здесь одну из главных ролей сыграл выдающийся белорусский актер, педагог и режиссер Дмитрий Орлов.

Дом в Терюхе совсем небольшой даже по деревенским меркам. А вот усадьба вокруг как раз обширная, соток пятьдесят — тогда землю для ветерана не жалели. Тесть Шамякина Филат Азарович высадил на участке прекрасный плодовый сад — его отец когда-то служил садовником у помещика, и садоводство оставалось в традициях семьи. У моего прадеда Азара, внебрачного сына помещика, еще до 1917 года сад был самый большой в селе и самый богатый сортами плодовых деревьев и цветов.

В первую половину дня в Терюхе Шамякин всегда работал. Рабочие дни здесь были необычайно плодотворными. Нередко после обеда папа отправлялся на двор, располагавшийся через улицу, к своему тестю, нашему дедушке, Филату Азаровичу. Филат тогда уже был на пенсии, но без дела не сидел, а вместе со своим сыном, нашим дядей Колей, инвалидом, лишившимся глаза во время войны, бондарил. Особенно удавались дедушке и дяде бочки и дежи самых разных размеров. Шамякин, сидя рядом с работниками и вдыхая такой приятный для сына лесника древесный запах, пытался выудить у тестя разные интересные сведения о его жизни. Ведь Филат прошел ГУЛАГ, строил и Беломоро-Балтийский канал, и канал «Москва-Волга» (вернулся в 1938 году, и по поводу его возвращения моя тетушка Ольга Филатовна рассказывала буквально мистическую историю). Но беда в том, что Филат Азарович отличался, как пишет сам Шамякин, просто «феноменальной молчаливостью». Правда, Николай Филатович о своих военных приключениях рассказывал охотно.

Однако чаще всего после обеда, посадив полную машину детей, меня с братом, наших двоюродных братьев и сестер, папа обязательно вез нас куда-нибудь в окрестности Терюхи: в лес, на луг, на границу с Украиной (мы любили это место с беседкой, тогда символическое). Иногда шли удить рыбу — плотвичек и окуньков — вместе с дедом Филатом, который удочке предпочитал так называемую топтуху. Нередко вечерами ездили в Новую Гуту к маминим старшим сестрам Галине и

Матрене. Довольно часто в Новой Гуте или в других соседних деревнях — отец знал там заядлых рыболовов-любителей — покупали уже не плотичку, а выловленную в Соже крупную, матёрую рыбу. По ягоды и грибы тоже ездили едва ли не каждый день. Забирались довольно далеко. Папа ходил около машины, чтобы не оставлять ее без присмотра (но ему и на небольшой площади всегда в сборе грибов почему-то везло — писательская наблюдательность!), а мы с мамой отходили, может, и на километры. Собирать землянику на лесных солнечных полянах в могучих, пахнущих смолой, сосновых борах — прекраснее занятия я не знала в жизни!

По вечерам к отцу обычно кто-нибудь приходил: или родственники жены, или председатель сельсовета, или лесники с близкой лесной дачи, где сам Шамякин жил в далеком детстве, бегая по лесу в деревенскую школу, или рыбаки с рыбой на продажу, или учителя. У папы половина деревни, да и ее окрестностей, — знакомые и приятели. Сидели на веранде или на лавочке в саду, вдыхая запах фиалок — «ночных красавиц»; отец с удовольствием слушал рассказы мужчин, часто — ветеранов войны. Немало услышанного им в Терюхе потом, всплывая в памяти, входило в его романы. Довольно часто сельчане приходили с просьбами, жалобами. **Помогать людям отец считал своей прямой и главной обязанностью. Конкретную помощь ценил больше, чем воспитательное значение своих книг. Возможно, под влиянием мамы. Она считала, что за счастье, полученное ими, Шамякиными, от судьбы, они должны как можно больше дарить людям добра.**

Выслушав очередную просьбу сельчанина, отец собирался, заводил свою «Победу», а затем «Волгу», и ехал в Гомель, шел к разным чиновникам. Шамякина тогда настолько уважали в республике, в областном центре, что я не помню случая ему отказа. Из фактов его реальной помощи запомнился, скажем, такой. Учитель Виктор Ермаков (в Терюхе полно Ермаковых) страдал глазами. Очков, необходимых ему, с какими-то особыми стеклами, тогда в СССР достать оказалось невозможно. Шамякин писал в разные места, обращался к высоким чинам и, в конце концов, добился, чтобы из ГДР прислали необходимые очки. Кроме того, заслуга отца — строительство в Терюхе новой современ-



Слева направо: Иван Шамякин, Андрей Макаёнок с Первым секретарем ЦК КПБ Петром Машеровым во время поездки на Полесье.

ной школы, хотя мне, признаться, было жаль прежнюю, в которой учились еще мои родители, — в бывшем, еще дореволюционном, доме священника.

Заговорив о домах, я вспомнила, что жила в Терюхе жилье еще без фундаментов, с завалинками, так называемыми «призьбами» (именно с мягким [з]). Мы с мамой часто присаживались на них, гуляя по деревне, и беседовали с жителями, знавшими мою маму еще девчонкой. Перед более новыми, послевоенными, домами обязательно располагались палисадники с цветами — как бы эстетическое «лицо» хозяйки усадьбы. Набор цветов во всех этих огороженных колышками уголках был примерно одинаков: георгины, мальвы, гвоздики, незабудки. Но все равно страсть к красоте деревенских женщин очень трогательна. Потом и палисадники стали исчезать — молодежь строилась по-современному, цветы высаживали во дворе, отгородившись от улицы высокими

заборами. Кстати, наша усадьба отличалась от всех тем, что располагалась не на улице, а несколько сбоку, ближе к реке, и была огорожена обычным штакетником, так что просматривалась, собственно говоря, насквозь. Правда, людей вокруг перемешалось все же меньше, чем по улице, но на речку, скажем, все ходили мимо нас.

Шамякин отличался удивительной терпимостью ко всем проявлениям именно народной жизни, а вот бюрократию в своих произведениях развенчивал. Мне кажется, его любовь к Терюхе проистекала не только от несуетливости тамошней жизни, но и от чувства единения с довольно многочисленными родственниками, целым семейным кланом, богатым своими родовыми традициями — и староверскими, и даже дворянскими, потому что, по семейной легенде, отец Филата — Азар — внебрачный (в конце концов, усыновленный) сын помещика Кротова. Так получилось, что с родными жены, урожденной

Кротовой, у Шамякина образовались истинные душевные связи, более крепкие, чем с членами собственными семьи. Конечно, и своих родственников он любил, особенно мать, но душевной близости не сложилось. Мы, кстати, каждый год бывали на родине отца, в поселке Чехов около Кармы, где размещалась усадьба его родителей. Обязательно хотя бы раз за лето ездили в Чернигов или Киев, каждую неделю — в Гомель. Да только всегда тянуло скорее вернуться в Терюху.

Годы поездок на Гомельщину — буквально каждым летом — были для Шамякина годами полного, абсолютного счастья, какое только может быть в жизни человека. Ощущение счастья возникало от собственных творческих сил, славы, возможностей помогать людям, а также от семейных радостей, от близкого общения с природой. Но в немалой степени они связывались с еще непорушной пуповиной единения с деревней.

Терюха еще долго, когда Шамякин стал уже городским жителем и государственным человеком, связывала его с деревенским миром, давала отдых, импульс для труда, материал для творчества.

В ЖДАНОВИЧАХ, ВБЛИЗИ ОТ СТОЛИЦЫ

В начале 60-х годов отца уговорили купить дом в дачном поселке Ждановичи около Минска. Там же предложили дачи, построенные еще в 1957 году, и некоторым другим писателям: Кондрату Крапиве, Петрусью Бровке, Петру Глебке, Ивану Мележу, Пилипу Пестраку. Шамякин дружил с Глебкой, видимо, тот и уговорил. Помню долгие разговоры родителей относительно новой дачи. Главный довод ее приобретения — рождение моей младшей сестры Олеси. С ней тяжело будет ездить некоторое время в Терюху, хотя нас с Сашей начали возить совсем маленькими. А жить постоянно в городе родители тогда органически не могли — тянуло к земле. Большой проблемой оказалось сказать родственникам в Терюхе о новом приобретении. Не только мы, но и тамошние родные жили ожиданием наших посещений: с нами их, да и всех деревенских насельников, жизнь приобретала какой-то иной смысл, другое измерение, разнообразие.

Родители стали ездить на Гомельщину

все реже, прижились в Ждановичах — близко около столицы, комфорт. А мы с Сашей продолжали летом посещать свою, по нашим представлениям, родину, хотя и родились в Минске. Особенно часто ездила я. Нередко с сестрой мамы Ольгой Филатовной, которой родители подарили дом в Терюхе (но она жила в Минске с моей старшей сестрой), потом уже со своей семьей — мужем, детьми. Причем мы здесь не просто отдыхали. Всегда помогали своим родным на сенокосе: мой могучий тогда муж хорошо скирдовал сено, я гребла; на машине возили родственников по окрестностям или в Гомель.

Настоящей драмой не только для меня, но и для моих семейников, тоже «заразившихся» любовью к Терюхе, стала продажа родителями этого дома в середине 90-х годов. Как они могли пойти на такой шаг — до сегодня не понимаю! Воистину, 90-е годы — не просто бездарные, но и совершенно безумные, и безумием заражались даже самые здравомыслящие люди. Главное, деньги взяли просто смешные, буквально копейки. Так зачем? Как всегда — уговорили, теперь уже не друзья, а родственники. Правда, человек, купивший дом, еще долго сохранял его в прежнем виде, видимо, понимая его ценность. В 2006 году гомельские власти даже повесили на доме мемориальную доску.

Довольно часто мы с отцом говорили о деревне, о ее роли в развитии цивилизации, о значении в нашей собственной жизни. **Папа считал себя деревенско-городским человеком. Особенно много деревенского оставалось до конца жизни у мамы. Все друзья Шамякина уважали ее за именно народную мудрость и феноменальное трудолюбие деревенской женщины.** Однако взгляды Шамякина на деревню были достаточно сложные и даже противоречивые. Скажем, он был решительный сторонник коллективизации. Я же, внучка весьма зажиточного, с претензией на дворянскую родовитость, крестьянина, никогда не вступавшего в колхоз, отстаивала эффективность единоличного хозяйства, а главное, крестьянскую патриархальную культуру, противопоставляя ее городской индустриальной. Помню, что когда я осуждала Максима Горького за его презрение к крестьянству, за его высказывания про «идиотизм деревенской жизни», папа соглашался как раз с Горьким, а не со мной, говоря мне: «Ты знаешь сель-

ский уклад по Терюхе, деревне культурной, с традициями, да еще в лучший период жизни социалистического общества (хотя сегодня я понимаю, что проблем тогда, под властью недоучки Никиты Хрущева, в деревне хватало — Т.Ш.), а я видел село в 20-е годы: это убожество, нищенская обстановка, совсем не гуманистические отношения между людьми, действительно — идиотизм. По-настоящему зажиточной деревня стала только при полной коллективизации».

Мне кажется, у Шамякина произошла своеобразная абберация сознания: на детские воспоминания о бедности собственной семьи наложилось впечатление от белорусской классической литературы, действительно, излишне пессимистически воспринимавшей деревню. В то же время сердце писателя болело, когда он, пережив короткий период подъема белорусского села, наблюдал его упадок — не материальный, а нравственный. В Дневниках из книги «Размышления на последнем перегоне» он пишет: «... Это не просто беда — трагедия, что люди так боятся села. Не просто люди. Молодежь! Будущие хозяева. Кто же в этом виноват? Они? Нет. Мы. Родители. Что мы сотворили с деревней? Как воспитали сыновей своих и дочерей? Где народники? Где подвижники? Романтики? Революционеры? Открыватели? Неужели нет их? А может, они переспевают в наших теплицах и быстро загнивают?».

С другой стороны, Шамякин не сомневался, что урбанизация будет продолжаться — процесс этот закономерный (я так не думаю — вполне возможно массовое возвращение людей назад в деревни), и село в обычном смысле фактически осуждено. Но воспоминания о деревенском детстве и лучшей творческой поре в Терюхе он навсегда сохранил в своей душе как самое дорогое в жизни.

ГОРОДСКИЕ СЮЖЕТЫ

С 1948 года Шамякины стали минчанами. Несколько раз меняли квартиры. Наиболее счастливое время в городе — проживание в течение пятнадцати лет (с 1954 по 1969 гг.) в так называемом «писательском доме» по улице К.Маркса, 36.

Дом тогда нам, детям, казался огромным, а был всего только пятиэтажным, на три подъезда. Между вторым подъездом, где наша семья жила на четвертом этаже, и

первым, где оказалось много наших друзей, можно было пройти не только по двору, но и по чердаку и даже по подвалу.

В доме сначала были плиты, топившиеся дровами (в квартиры наших друзей в Киеве уже давно был подведен газ). Дровяные сараи, до подключения газа, находились во дворе — на том месте, где сейчас кинотеатр «Пионер».

Сегодня наш бывший дом, который частично заходит и на улицу Энгельса, испорчен «пешерой» — входом в метро, а тогда там помещался книжный магазин, занимая большую площадь, чем в наше время. По диагонали от входа в магазин — Государственный академический театр имени Янки Купалы, который в нашем детстве как раз перестраивался, приобретая более современный вид, а в последнее время ему вновь вернули прежний дореволюционный облик. Квартал напротив нашего дома и одновременно напротив театра, ограниченный с четырех сторон улицами Маркса, Энгельса, Ленина и проспектом Сталина (ничего себе наборчик имен!), был почти закончен, только уже после нашего вселения достраивался кинотеатр «Новости дня», потом ставший Малой сценой купаловского театра. Почти рядом с кинотеатром, на углу улицы Энгельса и проспекта, на протяжении более десяти лет стояла с тележкой одна и та же продавщица мороженого, у которой мы, все дети большого квартала, покупали удивительно вкусное, разных сортов, и совсем недорогое мороженое. А напротив, через улицу, у входа в Театральный сквер, — тележка с газированной водой: одна копейка без сиропа, четыре копейки с сиропом — грушевым, вишневым, малиновым. Куда до них разным ядовитым кола, пепси и фантам!

Сквер выходил на центральную площадь города, на которой еще возвышался памятник Сталину, созданный Заиром Азгуром в 1952 году. Его с огромным трудом сорвали танками по приказу Хрущева в одну ночь 1962 года, и я помню какое-то смущение взрослых от этого необычного акта.

Вообще-то политические разговоры звучали в нашем доме постоянно, и многие писательские оценки, данные друзьями отца тогдашним деятелям, запомнились мне очень хорошо. До сегодня я, как никто из моих коллег-женщин, интересуюсь историей и политикой. Притом функционером, обще-

ственным деятелем я никогда не была. Может, потому и не была, что со времен детства знала обратную сторону того, что так красиво высматривало с фасада. Писатели, художники, актеры (и какие среди них имена!) в те годы — мои школьные годы — собирались у нас очень часто (наша семья считалась, да и вправду была, одной из самых гостеприимных среди писателей), едва ли не каждый день, и обсуждали они почему-то не художественные проблемы, а именно политику. Разговоры с упоминанием одних и тех же имен невольно западали в память. И то, что как открытие объявлялось в конце 80-х годов — в эпоху «перестройки» — я слышала из уст разумных людей еще за двадцать лет до этого.

Характерный штрих: все, кто приходил к нам домой, обычно начинали разговор такой фразой: «Иван, слышал новый анекдот?». И рассказывали очередной анекдот — действительно, каждый раз новый и обязательно антисоветский. Много позже, уже в начале 80-х, помудревший Андрей Макаёнок говорил мне, что антисоветские и антиславянские анекдо-

Жизнь отца, как и нас, детей, проходила, кроме других близких улиц — центральных в Минске (Ленина, Кирова, Маркса), — в значительной степени на улице Энгельса: именно там тогда находился Союз писателей, куда Шамякин ходил каждый день, примерно к 14 часам дня. А вот задерживался до вечера. **Писал не утром, как в Терюхе, а ночью; по утрам же, когда мы были в школе, отсыпался. Сам страдал от такого режима, но он сложился сам собой, когда отец убедился, что ночью ему лучше работается.** Наши дни — это школа, кружки Дома пионеров, часто Театр юного зрителя, а после открытия «Пионера» мы почти каждый день навещали в кино. Особенно запомнились летние вечера в мои уже подростковые годы, когда от жары открывались двери в кинозале, и я из своей комнаты, окна которой выходили непосредственно на кинотеатр, слышала волнующую музыку «Неуловимых мстителей»: кинолента шла, помню, особенно долго, и когда вышли две следующие серии, их повторяли все вместе снова и снова.

Да, вспоминается отец разным. Но все же чаще — молодым, веселым, энергичным. Такую же создавал и атмосферу в доме.

ты сочиняют в специально созданных на Западе центрах под эгидой ЦРУ. Естественно, я тогда не верила в эту, по моему мнению, несусветную чушь, удивляясь, что даже широко мыслящий Макаёнок заразился коммунистической пропагандой. Однако последующие события показали мою наивность, чтобы не сказать жестче. Еще интересная деталь: отец, как правоверный коммунист, заботился о нашем идеологическом воспитании и боялся при детях высказываться открыто, а моя мама и Макаёнок — просто даже нарочно дразня осторожного Шамякина — всячески пытались донести до нас, детей, правду.

Как чувствовал себя Шамякин в нашем квартале, не «жал ли ему он плечи»? Нет, квартал по своей уютности как-то соотносился с папиным кабинетом, тоже очень уютным. Вообще все кабинеты в домах, где жил Шамякин, он обустраивал, естественно, «под себя», и они всегда оказывались лучшими помещениями и в квартирах, и на дачах.

Романтика (пусть и спорная) «Неуловимых», с одной стороны, и гриновских «Алых парусов», с другой; увлечение туристическими походами, путешествиями в дикие, неосвоенные места; споры «физиков» и «лириков»; книги фантастики, песни бардов, первые полеты в Космос... Вот реалии наших школьных лет. Этим и еще многим-многим другим — не менее захватывающим и интересным — мы тогда жили.

Вторая половина 50-х — начало 60-х годов — удивительное, неповторимое время. Обычно о нем говорят как о «хрущевской оттепели», хотя сегодня мы знаем, сколько глупостей натворил этот пустомеля, гробокопатель, невежда. Да, прекрасная эпоха — для моей собственной судьбы, да и для судьбы родителей — буквально «золотой век». Но я, в отличие от многих других ностальгирующих «шестидесятников», в том числе собственного отца, не связываю ее с личностью Хрущева. В нашем доме часто гостили украинские и

московские писатели, знавшие Никиту Сергеевича даже лично, встречавшиеся с ним в разные годы и в разных ситуациях; потому я имела представление о нем с детства, а не по апологетическим и часто, мягко говоря, не совсем правдивым современным воспоминаниям. Кроме свидетельств наших гостей-писателей, в последнее время появились и архивные материалы, которые доказывают вину собственно Хрущева в убийствах тысяч и тысяч людей. Он был настолько обуреваем террором в 30-е годы, что, оказывается, Политбюро специальным решением ограничивало его «деятельность». Но то, что выяснилось сегодня, повторяю, я знала еще в 60-е годы от непосредственных свидетелей исторической трагедии. И я не понимаю, почему Шамякин, также зная все факты, а, главное, подоплеку, всегда был и оставался лояльным и снисходительным в отношении Хрущева. Отец просал тому абсолютно все — потому что кукурузник не допустил террора. Что и говорить — серьезный аргумент, в ответ на него я всегда в споре с отцом умолкала. Но сегодня смотрю иначе, с высоты, так сказать, всех последующих событий. То, что Хрущев начал — Горбачев и его последователи закончили. Но неизменно от того хаоса страдаем и мы — белорусы: зараза очень легко проникает к соседям.

Атмосферу нашей жизни в 50-е годы определяли совсем не хрущевские, часто абсолютно глупые, бездарные, вопиюще недемократические, решения в экономике и культуре, а что-то совсем иное: скорее всего, сохранившийся еще с войны дух товарищества, взаимопомощи, память о совместно пережитой беде. Сохранилась инерция всеобщего подъема и энтузиазма, тот тон и тот темп жизни, который был взят в конце 40-х и в 50-е годы. Мы почему-то забыли многочисленные стройки того времени, создавшие, в конце концов, неповторимый центр Минска; становившиеся все более прекрасными окрестные улицы, проспект, парк имени Горького, куда любили мы ходить и семьей, и большими дружескими компаниями; посадки деревьев на улицах и в нашем дворе; постоянные субботники, над которыми не ёрничали, как принято стало во время «перестройки» на российском телевидении, а выходили на них охотно и работали дружно, весело.

Особый дух царил и в нашем писательском доме. Все же принадлежность к одной корпорации многое определяет в быту. Придя из школы и не застав в квартире родных, мы спокойно могли пойти обедать к соседям, особенно к тем, у кого были свои дети. Взрослые не жалели времени, чтобы и рассказывать нам разные истории, и читать, часто свои произведения, и водить на экскурсии, на рыбалку. Нередко случались и воспитательные акции, скажем, в отношении моего брата Саши, который держал на чердаке голубей и вылезал, гоняя их, прямо на крышу дома. Его, в свою очередь, гонял Янка Брыль, который вместо отца — Шамякина, вечно занятого на работе, — стаскивал неосторожного Сашу с опасной крыши. Я и с будущим своим мужем познакомилась благодаря голубям: к брату приходили такие же любители птиц и среди них — Слава. Вообще же молодежь из десятка кварталов (от площади Победы до стадиона), кто учился в школах № 2 и № 4, а значит, тут же и жили, все прекрасно знали друг друга. Целыми дворовыми коллективами мы играли в «казаков-разбойников», бегая непосредственно по улицам, поскольку машины по ним проезжали тогда очень редко. К нам во двор, где было много девочек, приходили ребята из других дворов играть в волейбол. Вместе мы ездили на трамвае купаться и плавать на лодках по Комсомольскому озеру. Постоянно обменивались книгами. Очень много редких книг, которые привозил отец из Москвы, мне не вернули. Тогда я на это не обращала никакого внимания, сегодня — немного жаль, таких уже не купить. Удивляюсь со своих родителей: почему они так легкомысленно относились к тому, что мы постоянно что-то, особенно книги, выносили из дома? Впрочем, и мои дети поступали так же, и я так же смотрела на это сквозь пальцы.

Вспоминая детство и юность, не могу не отметить одну определяющую особенность нашей жизни: дух заинтересованности, энтузиазма, жажда все познать, овладеть разными умениями, заниматься и с животными, и модели строить, и фотографировать, и путешествовать. Характерно, что и взрослые жили с таким же настроением: сами жадно постигали мир, и нас интересовывали, приучали. Помню, как на трех собственных автомашинах Шамякины, Карповы и Хадке-

вичи путешествовали по Беларуси. **Родители стремились показать детям самые красивые и загадочные места республики**, в Беловежской пуше мы даже ночевали. А вообще на машине нас постоянно вывозили на природу весной и осенью, да даже и зимой (летом всегда были в Терюхе): просто посидеть у костра, попечь на нем сало, картошку; в лес за подснежниками, за вербой, за грибами, посмотреть ледоход — на Березину, Неман. Ездили обычно компаниями: Шамякины, Макаёнки, Василевские, Кулаковские. Насколько у знаменитых уже тогда писателей сохранилось еще мальчишество, говорит такой факт: с полными машинами детей Шамякин и Макаёнок гоняли по шоссе, не уступая друг другу дорогу. Уговоры жен не помогали.

Возвращаюсь к дому № 36. В двух из трех подъездов жили почти только писатели. В частности, в нашем: на втором этаже — Михаил Климкович и какой-то очень важный генерал милиции, на третьем — Василий Витко и Петр Глебо, на четвертом — мы и Иван Мележ, на пятом Янка Скрыган и Янка Брыль. Наш подъезд считался привилегированным, так как в нем оказались четырехкомнатные квартиры — достаточно большая роскошь для того аскетического времени (как и машины почти у каждого из писателей). Во втором подъезде — по количеству больше квартир, но не такие большие — двух-трехкомнатные. На фоне общей катастрофической нехватки жилья писатели жили, можно сказать, по-пански. При этом, однако, сохраняя лучшие традиции народного жизнеустройства. Все друг друга знали, постоянно встречались, переходили из квартиры в квартиру, вели частые беседы, вместе готовили еду, женщины каждый день сидели на лавочках в тогда уютном дворе, рядом с ними играли дети. Сегодня я называю тогдашнюю нашу жизнь коммуной. Двери не закрывались — как и в деревенских домах того времени. Теперешние домофоны, решетки, массивные замки, камеры видеонаблюдения никто из нас и в страшном сне не приснил бы. **Среди жен писателей почти все отличались скромностью, характерной для белорусок мягкостью, душевностью, приветливостью.**

Патриархальное и во многом даже коллективное воспитание спасло нас от приобщения к богемной молодежи, о которой так колоритно в своих мемуарах рассказал

Александр Станюта — сын знаменитой белорусской, советской артистки Стефании Станюты. Мы знали о «стилягах», но не тянулись к ним, относились к убогим с пренебрежением, иронией. Никто из нашего дома не таскался под гостиницу выпрашивать у зарубежных туристов всякие никчемные безделушки; особенно не увлекались, кстати, и «Битлами», хотя эстраду любили — и советскую, и зарубежную. Все лучшее из зарубежного искусства знали хорошо. На стенах наших комнат висели портреты Хемингуэя и Че Гевары, мы часто ходили на зарубежные фильмы — а показывали тогда только высокохудожественные, действительно киноклассику. Мои родители выписывали до двадцати разных изданий. Старшая сестра Лина, хорошо знавшая французский язык и бывавшая во Франции (у нее есть автографы Пикассо и Ива Монтана), читала еженедельник «Юманите диманш», постоянно покупала женские журналы стран народной демократии — «Уроду», «Ладу», «Божур». Вообще жили исключительно насыщенной жизнью. В детстве — разные игры, лично я, скажем, любила играть в лапту и прятки. В 60-е годы — одержимость произведениями фантастики, научными открытиями и космосом, фотографией, пешими походами (обошли, например, вокруг Нарочи).

Отношения отца с соседями были исключительно дружеские. Он вообще органически не был способен ссориться, выяснять отношения, даже язвить. Но все же, когда к нам заходили соседи, — Янка Брыль, Иван Мележ, позже Иван Науменко, — я видела, что Шамякин, при всей приязни к коллегам, чувствует себя как-то не в своей тарелке. Не потому, что он, человек среднего роста, выглядел жалко по сравнению с высоченными друзьями, а потому, что они всегда были больше уверены в себе, чем мой отец, очень скромный человек. Немного опасался он и их шуток, которые не всегда мог так же остроумно отбить (если рядом оказывался Макаёнок, то с ходу — за Шамякина — отбивал он).

Очень легко и комфортно папа чувствовал себя с Янкой Скрыганом, живущим на пятом этаже, удивительно интеллигентным, мягким, доброжелательным ко всем людям, в том числе, к намного более молодому Шамякину, и с Петром Глебкой, нашим соседом снизу, также старшим коллегой. Я дружила

с дочерью Скрыгана Галей. Мама, в свою очередь, очень подружилась с тещей Ивана Мележа Клавдией Яковлевной, а затем, с 1964 года, когда в квартиру Мележей переехал Науменко, с женой Ивана Яковлевича — Ядвигой Павловной. Шамякин дружил с Иваном Науменко до конца жизни, хотя они — очень разные по характерам. Однако своеобразие каждого из творцов — и есть, по-моему, главная наша культурная ценность. При общей стандартизации, нивелировке жизни, в том числе, личностной, человеческой, творческие индивидуальности, их становление, развитие стоило бы внимательно изучать. Иван Яковлевич Науменко в университете руководил моим дипломом, потом кандидатской диссертацией, затем, уже будучи сам академиком, оппонировал докторскую, то есть дал мне дорогу в науку. С его сыном Павлом нам сейчас прекрасно работает на одной кафедре. Кстати, то, что дружеские связи продолжают во времени, в потомках, я тоже считаю чрезвычайно важным явлением в жизни белорусского общества...

Соседи-писатели обычно заходили к Шамякиным по вечерам или по выходным. Чаше всего говорили о новоприобретенных книгах. Причем подписные издания нам носили на дом — была тогда такая услуга. И сейчас помню пожилую хрупкую женщину, терявшуюся перед именитыми авторами; родители всегда ее щедро вознаграждали, ведь ей приходилось тащить тяжелые фолианты.

Я не считаю, что быт того времени был тяжелым. Наоборот, во многом он видится более простым и приспособленным к нуждам рабочего человека, а не владельца шикарного автомобиля, «под которого» сегодня строят огромные супермаркеты, но не учитывают возможности пенсионеров и людей, лишенных автомашин. В то время в каждом квартале были маленькие магазинчики. Например, около нашего дома, на улицах Маркса и Ленина размещались совсем небольшие торговые точки — «Хлеб», «Молоко», «Рыба», «Овощи-фрукты». Хозяйки посещали и близкие гастрономы, имевшие собственные, данные населением, названия: «Под часами», «Центральный». Там, где теперь здание БелТА на улице Кирова, находилось общежитие пединститута и магазин, который все называли «На ступеньках».

В 50-60-е годы продуктов было, как ни удивительно это звучит для оболваненной СМИ современной молодежи, полно. Ясно, что колбас не пятьдесят сортов, а может, десять, но зато каких вкусных, из натурального мяса! В магазине «Рыба» на улице К.Маркса икра стояла в бочках, часто продавали раков. В магазине «Молоко» на углу Энгельса и Ленина — фантастически вкусная ряженка, сливки, сметана — все еще в стеклянной посуде, потом в треугольных пакетиках. Одно время из этого магазина носили молоко на дом, ставили под двери. А корреспонденцию доставляли три раза на день прямо в квартиры, и почтовые отделения работали без обедов и выходных дней. И фрукты, хотя и не в красивых корзиночках, продавали на каждом шагу, причем наши — белорусские. Да, не всегда чистыми руками насыпали продавщицы какую-нибудь черешню или клубнику в пакеты, но все было, как правило, свежим. Помню полки в магазинах, занятые сплошными рядами венгерских овощных консервов типа «Лечо» и особенно вкусных болгарских компотов из черешни, вишни, персиков.

Домашняя пища того времени простая, без особых изысков, еще близкая к деревенской, но количество блюд достаточно велико. К праздникам готовили крабовые салаты (крабов тогда было полно), холодец; кроме того, моей маме особенно удавалась грибная икра из засушенных, собранных нами, боровичков — настоящая грибная икра и получается только из сухих грибов. Перед Новым годом Шамякин и Янка Брыль ездили в Ракон на деревенский базар покупать молочных поросят. Сегодня мои дочери к каждому празднику готовят достаточно изысканные блюда. Однако все большее количество ингредиентов, часто экзотических, необходимо, если говорить честно, для того, чтобы придать хотя бы какой-то вкус современным пресным продуктам промышленно-автоматизированного производства. Помню, в 1963 году Шамякин прилетел из США и привез нам попробовать американский хлеб. Он был совершенно резиновый по консистенции и на вкус. К такому состоянию пищи приближаемся ныне и мы. Однако обертки все красочнее, все завлекательнее. «Прогресс», как говорится, налицо.

Конечно, я понимаю, что пишу о столице, притом о центре города — его витрине. Но

эта социальная страта, эта часть жизни тоже существовала. При этом я знаю, чем и как жили простые труженики. Так, в Терюхе мы питались исключительно по-деревенски — картошка, блины, рыба, молоко, яйца, грибы — и не нуждались ни в каких магазинах. Если что, скажем, приехали гости, ехали в Гомель на рынок. Уже в 70-е годы в той же Терюхе, где я жила без родителей, и никто рыбу нам на дом не приносил, как во времена Шамякина, мы покупали хлеб, колбасу, консервы, конфеты в деревенском магазине, в котором полки — это правда — не гнулись от разнообразного ассортимента: деревенские жители ожидали, что «выбросят», но никто, понятно, не голодал. Люди жили небогато, но и потребности их были невелики. Проще сказать, нормальные были потребности, и они худо-бедно удовлетворялись. Однако почему нужно постоянно мусолить факт нашей бедности: ведь недавно пережили войну, шло интенсивное строительство, обновление державы! А главное, и в других странах Европы простой человек жил так же тяжело; неужели не помнят мои одноклассники и люди постарше фильмов итальянского неореализма?! Последние четверть века нам глаза застит несчастная колбаса, но не помнятся ни отстроенные в рекордные сроки города, ни бесплатно полученное образование, ни квартиры от государства, ни изданные книги и за них гонорары, которых сегодня, кстати, не имеем или же имеем жалкие копейки! Все об одном и об одном — пустые полки! Пустые полки появились уже в эпоху «перестройки», когда активно готовилось разрушение СССР. Ведь не станут же отрицать мои коллеги-современники, что буквально мгновенно после реформ Егора Гайдара всё возникло, как по мановению волшебной палочки. Значит, в стране все было. Было, но припрятывалось.

Я повторяю: в 50-е — начало 60-х годов в центре Минска ни мы, ни наши соседи никакого дефицита не знали. Да, здесь жила элита, но для нее и пищу — именно она больше всего голосит о голодном прошлом. О деревенской еде я вспоминаю вообще, как об утраченном рае. Да даже обычные городские продукты были натуральные и здоровые, без консервантов и генных модификаций. Сам Шамякин писал в 1948 году, когда он с семьей

только приехал в Минск: *«Сколько было самых разнообразных колбас! И теперь чувствую их запах! Краковская, полтавская, московская! Икра, рыба, крабы. Ешь — не хочу. Откуда взялось через три года после войны? Мало покупали? У людей не было денег? Частично так. Крестьяне сидели на голодном пайке. А рабочие — ничего. За 1200 рублей стипендии, которые я получал в партшколе, можно было небедно жить нам, четверым, — родилась Татьяна».*

В 50–60-е годы быт, чего не знает молодежь, менялся очень быстро. Менялись и условия жизни в нашей семье. В 1961 году родилась моя младшая сестра Олеся, а в 1963 году вышла замуж Лина. Меня переместили из комнаты, где я жила с Линой, в зал, а Сашу в кабинет отца. Жизнь приняла не такой размеренный и респектабельный характер, как раньше, но все же даже теснота не ощущалась. Повторяю, комфортом мы не были избалованы, годами спать на раскладушке — норма.

В 1968 году, на третьем курсе, я вышла замуж. Через год отцу дали пятикомнатную квартиру — бывшую квартиру Сергея Притыцкого — в доме №11 на улице Янки Купалы, напротив парка имени Горького. Там родители и жили до конца жизни. Мы же все, кроме Олеси, оставшейся с родителями и сегодня живущей с семьей в их квартире, постепенно разъехались, но еще до 1974 года, когда уже и брат Саша был два года как женат, жили все вместе. Причем жили очень дружно, весело, активно и творчески.

В зрелом возрасте отца ничто так не радовало, как успехи детей и внуков. Действительно, сын — геолог, участвовал в строительстве минского метро: две дочери — кандидаты наук, а я, в конце концов, — и доктор наук, профессор, член Союза писателей Беларуси; две внучки Шамякина — кандидаты наук. Он гордился нами намного больше, чем своей популярностью, и думал только о нас, проявляя исключительную, до мелочей, заботу.

Да, вспоминается отец разным. Но все же чаще — молодым, веселым, энергичным. Такую же создавал и атмосферу в доме. Этот человек был создан для счастья и умел его дарить другим. Но как жестоко история и неразумные, тщеславные, алчные люди расправились с его идеалами!.. ■